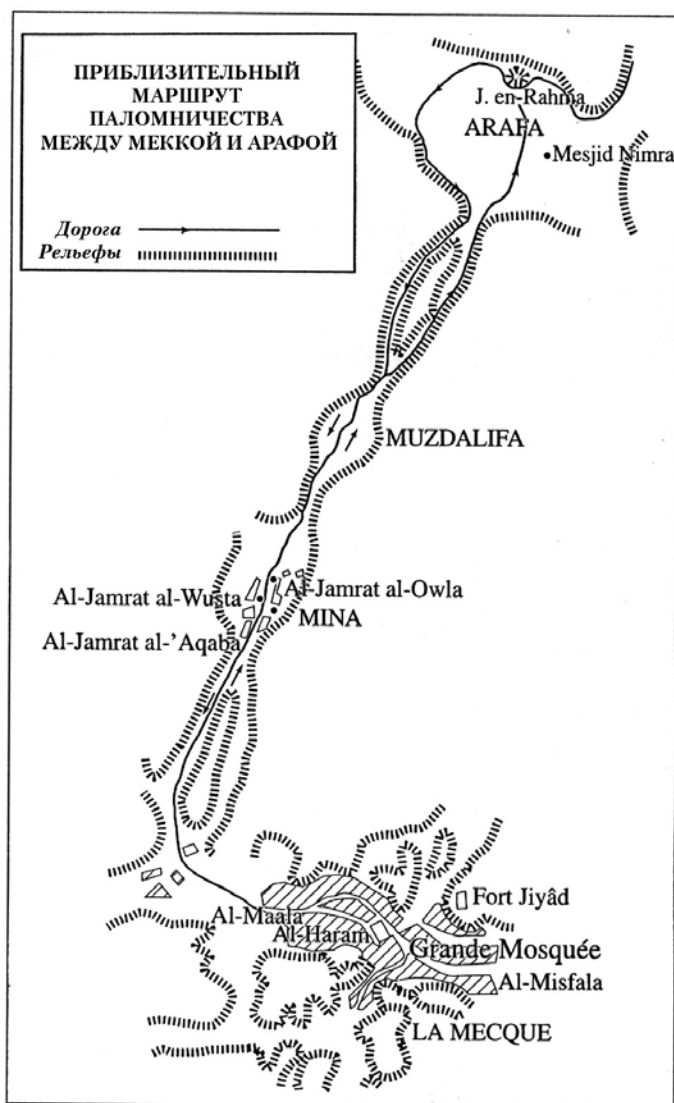


## ПОБИВАНИЕ САТАНЫ КАМНЯМИ

Абделла Хаммуди. “Побивание сатаны камнями”  
(*Сезон в Мекке, гл. X: Память о конечности*)

Перевод с фр. – Б. Скуратов (ред. пер. – проект [letterra.org](http://letterra.org)) (2011), по изданию:  
© Abdellah Hammoudi. Une SAISON A LA MECQUE (ch. X). P., Seuil, 2005.

*for presentational & educational purposes only*



## ПОБИВАНИЕ САТАНЫ КАМНЯМИ

Я не могу забыть запаха крови и пота животных. Запаха давно уже нет, а я до сих пор продолжаю чувствовать его. Вчера он вернулся с новой силой – его принес ночной ветерок. Это произошло по возвращении с Арафата, на пути в Мину, когда я ехал в битком набитом автобусе, прикомандированном к нам еще в Мекке. Как всегда, мы задыхались на тесных сиденьях. Мужчины, женщины и багаж сидели и лежали на буферных подвесках, в проходах, в пространствах рядом с дверьми. Я висел на центральном поручне, держа сумку на спине. После молитвы и ночного отдыха в Муздалифе, каждый из нас боролся со сном, как мог, прижимая к груди сорок девять камешков, собранных для *побивания* Сатаны камнями. Нам оставалось проехать всего четыре-пять километров, чтобы попасть в лагерь в Мине, но всякий раз, стоило нашему автобусу тронуться, как через несколько десятков метров он останавливался. Пробка на шоссе была такая, что большую часть времени мы стояли.

Пока мы ехали, до меня стал доноситься запах баранов. Затем я увидел первые хлева. Запах усиливался по мере того, как перед глазами проплывали бесконечные сараи со скотом, стоявшие вдоль подножия островерхих гор. Застыв неподвижно, животные проводили там свою последнюю ночь – на небольшом расстоянии от дороги, и при слабом электрическом свете я мог различить их плотные беловатые закруглявшиеся по краям ряды, которые терялись вдаль. Когда мы проезжали мимо, бараны поднимали головы. Некоторые смотрели на нас с тем безропотным беспокойством, с каким домашние животные смотрят на приближающихся людей.

Я сохранил кое-какие воспоминания о том, как это происходило в годы моей юности. Воспоминания напоминали почки, которые распускаются, прорастая сквозь себя. То были стародавние времена – времена растрескавшихся от засухи полей,

когда ростки с безмолвным и невиданным молчанием пробивали корку почвы, когда рос ячмень, и крепкие молодые руки быстро срезали хлеба, и резвились упоенные жизнью животные. Этот взгляд из загона был мне даже слишком хорошо знаком. На бойнях, где я бывал, я часто видел их бегство, проявления паники, их вопрошающий взгляд – взгляд животных, которых схватили, чтобы зарезать. Я слышал душераздирающее блеянье, мольбы, возносившиеся к небу вместе с испарениями и запахом горячей крови. И вот, этим самым сценам предстояло вновь разыграться завтра, в день жертвоприношения; миллионы живых существ дожидались собственного умерщвления.

В Мине хлева имели вид гигантского концлагеря для животных – на два, три, четыре миллиона голов или даже больше. Колоссальная толпа паломников готовилась исполнить долг жертвоприношения – под видом «подношения», к которому добавлялись жертвы искупления и подаяния. Сколько бы я ни повторял себе, что мы далеки от диких и домашних животных; сколько бы я ни растягивал эту дистанцию, думая о разных видах животных без лица и языка, неспособных, по нашему мнению, выражать эмоции – но смешанный запах крови, навоза и пота снова подступил к моему горлу. Мы все здесь собрались ради спасения своих жизней, и это спасение требовало, чтобы мы убивали этих животных. Массы паломников, дошедших до вершин самоотвержения после «стояния» у Арафата, молитвы в Муздалифе и побивания камнями в Мине, собирались теперь уничтожить миллионы жизней. Возможно, правда в том, что при виде животного я, прежде всего, распознавал в нем родовые характеристики. И все-таки каждое жертвоприношение означало конец жизни столь же единственной в своем роде, сколь и наша, человеческая, было актом насилия, попросту говоря – убийством.

Вид этих миллионов баранов, приговоренных к смерти в расщочку, пробуждал в памяти другие сцены. Я видел животных, мучимых на бойнях. Вспоминал, как в нашей семье при общем ликовании резали баранов на большом празднике Жертвоприношения. Затем незаметно подкрался страх, который и тогда овладевал мною при звуках предсмертного храпа. Что-то знакомое снова настигало меня в одной из самых невыносимых своих ипостасей. Его исток был здесь, я мог ощутить его токи, но сам он удалялся от меня по мере того, как я к нему приближался. Мой отец резал баранов во имя Бога, всех нас и нашего

счастья. Его руки, несшие смерть, запомнились мне, неопытному подростку, в непреложной непрерывности связи, порядка и преемственности. Не это ли называлось традицией? Чертог, который хоть и принадлежал мне, но лишь по собственной воле, не по законному праву, на которое я мог бы сослаться; чертог, открывавший мне свои зачарованные залы, но лишь внезапно, по прихоти случайного поворота дороги...

Это возвращение знакомого в чуждом обличье раздирало меня пополам. Все становилось колеблющимся: мои поступки, мой голос, тон моих разговоров с людьми. Вид этого скопления животных, обреченных на уничтожение, неумолимо накладывался на образ одинокого Праотца, который приносит в жертву собственного сына, подчиняясь божественному повелению. Это зрелище вносило элемент несчастья в чудо замены отрока ягненок. Конечно, определенную роль здесь играла и модернизация паломничества: усовершенствование загонов, ограниченные пространства, прямоугольная планировка, бесперебойно работающие системы безопасности и надзора. Каждому из царств был отведен собственный лагерь. Массы животных толпились в своих загонах, а неподалеку находились массы людей в своих лагерях, обнесенных высокими железными решетками и вытянувшихся вдоль, прямых, как стрела, улиц. От этой рациональности невозможно было скрыться. Картину довершали патрулировавшие округу полицейские автомобили и непрерывно кружившие в воздухе вертолеты. Этот порядок позволял людской массе уничтожать массу животных во имя Божье. Современность, на первый взгляд, вроде бы не изменила целей происходящего. Но это могло быть и одной лишь видимостью, так как, изменяя масштабы, ритмы и синхронизацию ритуалов, а также их обустройство, приумножая количество властных инстанций, современность эта, возможно, распространилась и на способы практиковать веру.

Ограничиваемые этими рамками национального государственного устройства, драпирующегося в одежды благочестия, молчаливые и упрямые паломники стремились исполнить обряд. На свои вопросы я слышал какие-то обрывки вместо ответа, а еще чаще – попытки от ответа уклониться: «Мы здесь, чтобы почитать Бога», или же: «Всякую превратность судьбы необходимо принимать как жертвоприношение на пути к Господу». Раздавалась и критика в адрес национального государства, и очень резкая, и, хотя это государство продолжало на-

стаивать на безопасности, удобстве обустройства и снабжения, а также качестве инфраструктур, многие страдали от ограничения движения, от жестокости полицейских и гражданских лиц, от драконовских законов относительно свободы речи, от ежесекундного контроля. Но лишь немногие из мужчин и женщин соглашались высказать свое мнение напрямую. Некоторые из моих спутников, которых я знал с давних пор, попросту не желали распространяться об «этих трудностях». Все, что происходит, является частью хаджа, и мы должны принимать это так же, как мы исполняем свои религиозные обязанности. «Мы собрались здесь ради хаджа, и каждый должен заботиться о спасении своей души», – таков был общий лейтмотив. Тем самым они напоминали об отрешении от мира; иначе говоря, об отрешенности от современного ваххабизма, видоизменившего формы проявления веры. Уклончивость моих собеседников не была бегством во внутреннюю сферу души, которую они противопоставляли бы внешнему конформизму, востребованному государственным аппаратом. Уклончивость эта просто говорила о фактическом положении дел и о жизни во время паломничества.

«Мы идем по пути Ибрагима», – сказал мне Салем, торговец родом из Тазы, еще молодой и сравнительно богатый человек, которого в это утро праздника Жертвоприношения я сопровождал к месту, где он договорился заклать ягненка. С течением времени мы сблизились, потому что спали рядом в большой палатке, в которой и молились. Салем сообщил мне, что он собрал значительную сумму (около 70 000 дирхемов), чтобы оплатить расходы, особенно, на покупку подарков и на праздник возвращения. Он знал, что я заплатил одной благотворительной компании, чтобы она совершила жертвоприношение вместо меня. Поэтому я не обязан был туда являться, но Салем предложил мне составить ему компанию. Пока мы шли, он непрестанно повторял: «Мы идем туда, куда шел Ибрагим. Мы следуем по его благословенным стопам, и подражаем нашему пророку, который следовал по пути, проложенному Ибрагимом, Другом Божьим. Мы подражаем им обоим, Бог примет наше жертвоприношение!» Это повторение, которое было молитвой и взыванием, он, несомненно, предназначал и мне, и себе самому. Следовать самому по стопам пророков – все это я уже проходил в школе по изучению Корана. Всем нам необходимо было свидетельствовать об их поступке своим поступком. Вся эта толпа в движении активировала повторное раскрытие некоего мира через свидетельство. Наша

повседневность впредь должна была представлять только так, как если бы она развертывалась, следуя по стопам пророков!

У подножия черных иссушенных гор, в ущелье Мины, куда мы попали, когда направлялись к воротам потустороннего, своим чередом шла торговля. Бедуины жестко держали цены, а марокканские паломники так же жестко торговались. Я смотрел на зловещие загоны для скота, вдоль которых проезжал вчера, и тут мой спутник спросил мое мнение о хорошеньком барашке, которого он только что выбрал. Мы находились на невообразимых размеров бойне, где животные дожидались, пока их схватят и передадут людям в зеленых одеждах, совершающим жертвоприношения. Не разобрав моего ответа, мой друг совершил сделку, передав жертву двум мужчинам, которые схватили ее и распластали на боку, головой к Мекке. После краткого взывания и *такбира*, они уверенным и стремительным движением перерезали барану горло, а затем подвесили его к одному из вращающихся стержней, чтобы его разделать. На каждом из этих стержней висели туши – сколько хватало взгляда. Я, как обычно, старался не смотреть на этот спектакль насилия, составлявшего суть ритуала, творимого нами для умиротворения Бога. Когда же жертва постепенно утратила малейшие признаки жизни, я стал наблюдать за окончанием ритуала. Тушу быстро ободрали, выпотрошили и разделали. Человек, которого я сопровождал, взял несколько кусков и хвост, посыпал мясо солью, положил его в пластиковый пакет и, прежде чем отправиться в обратный путь, спросил меня, не желаю ли я унести с собой кусок туши, большая часть которой должна была быть оставлена здесь для благотворительности. Когда я отклонил это предложение, он ни на чем уже не настаивал, но раздраженно повернулся ко мне спиной.

Мы молча побрели в лагерь. Мой спутник внезапно остановился и, глядя на меня в упор, сказал: «Вот видишь, я уношу это вместе с водой Замзама к себе домой. Это лучше, чем все подарки, чем все блага этого мира – это *барук* хаджа. Да пошлет нам Бог *бараку* пророка, как и всем мусульманам!» Я удовольствовался повтором слова *аминь*, и вновь отправился в путь, обводя взглядом горы, очертания которых резко выступали в прозрачном утреннем свете. Вон там вдали – вершина, с которой архангел разорвал завесу привычного мира и устремился в небо. Именно там, на горе Тхур, видение поразило одного из представителей племени курейшитов, которому архангел повелел пи-

сать, читать, говорить...; вот откуда пророк стремительно бежал, в страхе и трепете покинув эти места.

Солнце было уже высоко, когда мы подъехали к лагерю. Мы молча шли посреди толпы. Салем знал, что в Медине я заплатил за жертву, чтобы другие совершили жертвоприношение от моего имени. Не потому ли перед тем, как покинуть нас, он спросил меня, неужели я не хочу получить немного «*бараки хаджа*»? Я ответил, что для меня важно совершить ритуал, поразмышлять на тему моей веры, и, как я уже говорил ему, написать книгу. У меня создалось впечатление, что Салем впервые по-настоящему услышал и меня. Он не скрывал своего удивления: «Поразмышлять... Но разве ты не той же веры, что и мы? Ну что ж, у каждого свои цели». Сколько же раз мне задавали этот вопрос! Мы делали всё наспех и на бегу; ведь жертвоприношение и предшествовавшее ему побивание камнями засчитывались лишь в том случае, если они совершались утром, чтобы можно было вернуться в Мекку для обхода *ка'абы*, а потом успеть в Мину перед закатной молитвой. Мой друг сразу же отправился в путь. Что же касается меня, то я, подобно многим другим, принял другое решение: остаться здесь еще на два дня, и завершить побивание камнями до возвращения в Мекку. В палатке я заметил молодого чиновника из Сеттата, уже приступившего к обязательной стрижке волос после жертвоприношения.

Я решил немного отдохнуть. С несколькими встреченными мною соседями мы лежали в палатке, с ностальгией вспоминая день этого же праздника в Марокко: «Там, – говорил один молодой крестьянин из Бен-Герира, – только и слышно – *шух! шух!*» Он все повторял этот звук, проводя указательным пальцем по горлу, изображая забой скота. Все принялись вспоминать о мясе на вертеле, о мешуи, о таджинах и о головах, сваренных на пару! «Ах, голова ягненка на пару с солью и тмином ... Будь проклят Сатана! Наступил час молитвы!» Мы тотчас же рассеялись, чтобы совершить наши омовения и встать в ряды молившихся. Было начало второй половины дня.

Лихорадка прошла, но подорвала мои силы. Эмоции, вызванные жертвоприношением, сменились волнением первого побивания камнями, на которое я отправился сразу же после утренней молитвы. Я покинул лагерь один. Группа, к которой я не без колебаний присоединился при отправлении из Марокко, оказалась весьма разношерстной, ее устремления не выходили за рамки умеренной религиозной практики, подкреплявшей, в некоторых



случаях, амбиции и высвобождавшей – у всех поголовно – инстинкт потребительства. Своими торговыми витринами Медина и Мекка вполне отвечали такому материализму, помноженному на «чистую совесть». Я же чувствовал себя ближе к чете зажиточных ремесленников, с которой познакомился в Мине. Они хорошо понимали, что может привести в человеческую жизнь строгое исполнение религиозных обрядов, и были куда более терпимы. Меркантильный формализм мещанок, деливших свое время между благочестием, светским общением и сделками, и жесткая и властная манера инженеров, набравшихся своей религиозности из школьных учебников, окончательно отдалили меня от спутников из моей группы, и я, уже не совершая вместе с ними никаких обрядов, оказался на улицах Мины и в полном одиночестве направился к колонне Акаба, по дороге в Мекку. Я должен был отправиться туда для первого побивания камнями.

Я медленно шел среди густой толпы между импровизированными лагерями, рынками, такси и автобусами. Когда я, наконец, подошел к проходу на склон, по которому мне предстояло подняться, я внезапно остановился, охваченный страхом и неодолимым желанием повернуть назад. Дрожа и покрываясь потом, я некоторое время постоял у подножия склона, а затем молниеносно нырнул в толпу. Никто меня не толкал. Так решило мое тело. Я больше ни о чем не думал, плывя по людскому морю, которое сгущалось вокруг меня, унося вперед и раскачивая то вправо, то влево. Я ощущал себя соломенным чучелом, которое уносит поток. В этом хаосе я с грехом пополам пытался не оступиться и уклонялся от столкновений. Необходимо было также остерегаться групп, которые, нарушая все правила безопасности, плыли против течения вместо того, чтобы следовать ему. Чем ближе я подходил к цели, тем больше толпа захлестывала меня, стискивая до такой степени, что ноги почти не касались земли. Я искал и нашел совсем неподалеку молодого и очень крепкого человека. Я ринулся к нему. Садик, так его звали, успокоил меня: «Оставайся со мной, ничего не бойся... Ты откуда? Я суданец. Давай!» Он взял меня за руку. Мы вонзились в толпу, которая вращалась, словно колоссальный вихрь вокруг цилиндрической стены, ограждавшей колонну в формеobeliska. Стоя за Саддиком, я, тщательно прицелившись, бросил в колонну свои семь камушков – один за другим – с криком: «Аллах величайший!» Зловеще и непрестанно потрескивая, камушки падали в кучу вокруг колонны. При последней попытке

я пошатнулся и упал. Я задыхался. Саддик протянул мне руку, и в стремительном беге выволок меня из вихря. Я обнял его, а потом рухнул на стенку откоса, чтобы отдышаться. Понемногу приходя в себя, обнаружил, что у меня больше нет зонтика, что мое облачение *ихрама* разодрано в клочья, что сандалии я где-то потерял, а ноги кровоточат. На обратном пути, в самом низу гигантского склона, торговцы предлагали сандалии, сложенные в кучу. Многие паломники, как и я, заменили обувь, потерянную во взвихренной толпе.

Мы все понимали, что находимся на пути Ибрагима и Исмаила, что идем по дороге, прочерченной Мухаммедом, пророком ислама, возобновившем, как говорит традиция, учение Праотца. Нас всегда учили, что наша религия возобновила и вновь открыла монотеизм, после длительного периода его упадка, после *Джахилийи*, эпохи язычества и невежества. Выполняя соответствующие ритуалы, мы шли по следам пророка подобно тому, как он повторял шаги своих предшественников. Целые столетия протекли между ними и пророком, как и между тем, кто учредил ритуал паломничества, и нами. Мы были наследниками их всех, несмотря на разность в целях и вопреки возрастным, половым, расовым, национальным, языковым, классовым различиям... В этот день жертвоприношения цепь мертвых удлинялась теми, кто вновь и вновь приходил к тому, что любая замена может быть лишь временной. Я мог также представить себе эту цепь в форме колонны людей, круг за кругом обвивающейся вокруг отправной точки у черного куба.

Значит, мы поступали как пророки, и не могли обойтись без этого *как*, потому что мы не были пророками. Было бы святотатством мыслить или действовать иначе, нежели подражая их примеру. Предвидя наши слабости, правила хаджа классифицировали недочеты, которые могли запятнать его и которые мы должны были исправлять жертвоприношениями, постом или подаянием. Следуя примеру наших героев, мы знали, что между нами и ними не может быть никакой тождественности; что все наши усилия должны приблизить нас к ним, вместе с тем утверждая неустрашимость различия между нами. Впрочем, мы, марокканцы, адепты суннитской и маликитской доктрины, прекрасно знали, что наши обряды совершенно не похожи на обряды других верующих, принадлежащих к другим школам. Следовательно, мы шли по одному с ними пути, но не точно так же. Таким образом, не представала ли и сама наша модель в раз-

ных обличьях; ведь даже если различия иногда бывали весьма незначительными, различались сами паломники, будучи носителями учения своих общин. И подобно тому, как иногда сценарий фильма меняется в зависимости от интерпретации той или иной роли, эти доктрины руководили и ритуальным процессом через его вторичную интерпретацию.

Таким образом, мы действовали, поставив перед собой задачу сообразовывать наши действия с неким примером и неким образом. Мы действовали по определенной модели. Но, с одной стороны, эта модель была неисчерпаемой, а с другой, только наши действия служили ее конкретными реализациями. Благодаря этому факту модель была неуловима, и удалялась от нас по мере того, как мы продвигались к ней. Стало быть, модель и действие конфигурировались совместно или, скорее, постоянно отсылали друг к другу во взаимном соответствии, которое лишь подчеркивало их раздельность, в результате чего каждое из двух – модель и действие – представало не иначе, как избытком самого себя. Реальное могло совпасть с границами своих эмпирических конфигураций не больше, чем идеальное. С начала и до конца, последовательность действий, ведущих к завершению паломничества – после стояния у Арафата, – вырисовывалась в таком вот нимбе смысловой чрезмерности, предвеляя ту внутреннюю переработку, которая еще должна была произойти: полное и безостановочное «переописание» всего порядка вещей.

И всё бросало нас в этот динамизм: собрание во имя одного лишь ритуала, все эти места с эсхатологическим зарядом и все те драмы, что накладывались друг на друга и о которых эти места днем и ночью свидетельствовали; молитвы, обходы вокруг *ка'абы*, прогулки по рынкам, отправление в Мину среди ночи, ночное возвращение с Арафата, собирание камней в Муздалифе после ночной молитвы, и возвращение в Мину на рассвете с тем, чтобы возобновить путь побивания камнями и жертвоприношения; наконец, бег ради нового обхода *ка'абы*. Очень частые и регулярно оглашаемые смертные случаи, новости о блуждавших и терявших ориентацию паломниках, которых иногда находили лишь с помощью специализированных розыскных бригад, – все это способствовало тому, что всегда можно было услышать больше, чем говорилось, увидеть больше, чем было видно, помыслить большее, чем думалось.

Каждый мог прочесть в учебнике: «побивание камнями колонны Акаба». Однако часто говорили и: «побивание камня».

ми Сатаны». Я вполне мог бы написать – или прочесть – «побивание камнями колонны Акаба = побивание камнями Сатаны», или же «побивание колонны» равнозначно «побиванию Сатаны», или же «говорят побивание камнями Сатаны, имея в виду побивание камнями колонны, и наоборот». Я знал, в чем обычный смысл «побивания камнями Сатаны». Тем не менее, следовало признать, что *побивать камнями и колонна* не всегда сочетаются между собой в этом обычном смысле. Но что означало «побивать камнями Сатану»? В этом случае дела обстояли сложнее. Говорили также «собирать камни, чтобы забрасывать Сатану» – расхожее выражение. На дискуссии, завязавшейся как-то вечером с группой паломников из Высокого Атласа в Марракеше, Ль-хадж Али сказал мне: «Можно говорить – *забрасывать камнями колонну*. На самом же деле в этом месте побивают камнями Сатану. На самом деле мы побиваем и Сатану, и сатану в самих себе». Этот эссеист был почтенным лицом в своем деле. Он получил образование в коранической школе, прежде чем поступить в традиционный институт исламских наук. Нас познакомил мой друг Лахсен. Два-три раза я посетил его и Лахсена в Мекке и, конечно, мы воспользовались случаем, чтобы обменяться впечатлениями. Ль-хадж Али еще раз рассказал историю жертвоприношения: видение и полученный Ибрагимом приказ принести Исмаила в жертву, смирение сына, путь к местам умерщвления, три явления Сатаны, «использовавшего все соблазны жизни», чтобы побудить отрока к непослушанию и отказаться от этого замысла. И затем – ответ в виде забрасывания камнями... Колонна Сатаной не была, но, забрасывая камнями колонну, побивали камнями его. *Колонна* и *Сатана* разветвлялись в бесконечной многозначности. Сатана мог представлять в помощниках, двойниках, масках, двусмысленностях – столь же беспредельных, сколь и страшных. Если *колонна* была именем родовым, то Сатана чаще всего был именем собственным. Между тем, это имя встречалось и во множественном числе, и оно могло обозначать группу индивидов – как родовое имя. Другое имя, *Иблис*, встречалось тоже, хотя во множественном числе – гораздо реже. Но оно функционирует и как имя собственное, и тогда оно входит в классификацию таким же образом, как имя «Бог». *Сатана-Иблис* разделял с именем *колонна* классификационное свойство, обозначая – наподобие имени *Бог* – единственную в своем роде фигуру. Однако в порядке обычного словоупотребления не было различия между *колонной*, *Сатаной*, *побиванием камнями* или же *камнем разме-*

*ром с фасоль*, которым мы должны были вооружиться согласно правилу. Речь уже не шла о различии и об отношениях между видимым и невидимым – или, таким же образом, между воспринимаемым и не воспринимаемым. Сатана, само собой разумеется, всегда присутствовал и проявлял активность. Я знал знаки и симптомы, позволявшие его идентифицировать, – и поддерживал касательно этого относительный консенсус с моими собеседниками. Но, в свою очередь, мои собеседники действовали в ответ на действие, чью реальность они и устанавливали посредством бытия в действии, тогда как я довольствовался этим бытием в модусе приобретения опыта и некоторого познания.

Так что же представлял собой поступок, состоящий в *побивании камнями колонны, в побивании камнями Сатаны*? У нас – у моих собеседников и меня самого – не было разногласий по этому вопросу: мы бросали камни «размером с фасоль» в колонну. Мы знали, что их размер был определен решением, принятым толкователями священной Книги. Следовательно, побивание камнями Сатаны при бросании камней в колонну должно было рассматриваться в том смысле, что мы, делая одно, делали другое. Точнее говоря, в контексте, о котором идет речь, мы приводили нашу волю в согласие с волей тех, кто – согласно преданию – должны были победить Сатану. При таком согласовании было ясно, что наши снаряды должны быть размером с фасоль: их легко собирать, переносить, минимизировались нежелательные последствия, если камни, пролетев мимо цели, попадут в других паломников. Иначе говоря, все эти поступки относились к порядку «делать как». Паломники *делали как* Исмаил – не потому, что они кидали камни в сторону колонны, ведь сын Ибрагима, предок арабов, не нападал на колонну. Его камни, размеры которых, в противоположность размеру наших камней, не уточнялись, были предназначены для побивания самого Сатаны. Следовательно, становилось возможным согласовывать наши частные воли с волей Исмаила или, как минимум (этот случай касался меня), в сомнениях и в экзистенциальных поисках признать это движение и солидарно присоединиться к нему.

Во всех этих случаях делать одно, делая другое, означало действовать посредством метафоры. Посредством развертывания: развития в том смысле, что нечто воплощает себя посредством умолчаний, счастливых и несчастных случаев, неопределенных отклонений. В том месте, где высилась колонна Акаба

– по крайней мере, знание об этом разделялось всеми – Сатана явился Исмаилу, чтобы помешать плану жертвоприношения, призывая его к бунту. Эта *стычка* оставила свой знак, след, который назывался заповедью.

«В день *Праздника*, после того, как ты совершишь утреннюю молитву, и взойдет солнце, ты должен явиться к *джамрат аль-Акабе*, величайшей и последней колонне на пути в Мекку, и бросить в колонну семь камней размером с фасоль. Ты должен действовать так, чтобы каждый камень попал в колонну, дабы ни один не пролетел дальше и не упал в сторону».

Каждый бросок следовало предварять возгласом «Аллах величайший»; возгласом жертвоприношения, мученичества на полях битвы и забоя животного. В утренней молитве запечатлевалось посвящение этих бросков. Промежуток времени, отделявший ее от полуденной молитвы, был равен времени пути до нашей цели. Мы шли по стопам пророков. Итак, наши камни должны были поразить колонну тем же способом, каким камни Исмаила поразили Сатану. Правда, наши засчитывались так: семь при побивании камнями в первый день и по семь в каждую из трех колонн во второй и в третий день – между закатной и полуденной молитвами.

*Бросать тем же способом* указывало нам на порядок идей, параметров, чьи формы, пропорции и размеры мы должны были установить сами. Как среди ночи нащупать камни размером с фасоль? Выходит, сначала нам следовало оценить и размер фасоли, и размер камней. Два миллиона верующих занимались этим сравнением в темноте, будучи утомленными от непрерывного мелькания событий, когда ночь и день проникают друг в друга – ведь паломники плыли против течения обыденной жизни. Итак, каждый сам творил свои фасоли и свои камни размером с фасоль... К тому же, как следует понимать, что в предании упомянуты три попытки броска в одном непрерывном действии, тогда как нам предстоит кидать камни в течение двух или трех дней (по выбору)? Конечно, предание и правила взаимно друг друга не обуславливают. Скорее, необходимо было уразуметь, что они взаимно отсылают друг к другу. Так что в том, что мы делали, несомненно, проявлялось нечто общее с тем, что во время оно делали Ибрагим и Исмаил, – однако наше действие отнюдь не могло притязать на то, чтобы быть соразмерным их.

Фактически Исмаил бросал камни в Сатану как такового. Мы же кидали камни в колонну. Исмаил был один со своим

отцом. Нас же, устремившихся к этому объекту и бросавших в него камни с криками «Аллах величайший», насчитывалось миллионы. Конечно, это был возглас высочайшего жертвоприношения, и все-таки оно выглядело так, словно мы бросаемся на штурм невидимого врага. Этот возглас был адресован ему как вызов: возглас мученика, принимающего смерть, дабы держать врага под угрозой. Словно Исмаил, мы гнались за Сатаной, чтобы принять смерть, которую предустановил и заповедал Бог. Сатана не был уничтожен; он был побежден и загнан. За этой победой следовало ликование, обычно выражаемое слезами радости. Мы приобщились к глубокому чувству торжества, испытываемого при успешном завершении обряда. Никто не хотел упускать такой момент. Пожилые женщины, обессилев, платили молодым людям, чтобы те бросали камни в Сатану от их имени. Они возносили хвалу Господу, который позволял им так исполнить свой долг.

Испуг, неистовство нападение, ликование, триумф, чувство освобождения – наконец, мы приближались к концу ритуала, и это было подлинным облегчением. Однако при втором и третьем побиваниях, состоявшихся 11 и 12 хиджа, волнение все-таки оставалось интенсивным. Когда Ль-хадж Аббес и я, сопровождая его супругу, последовательно бросали камни в три колонны, нам пришлось несколько раз поднимать Ль-хаджу Зохру, чтобы вытащить ее из толпы. По завершении этого предприятия мы были столь измотаны, что тут же ринулись подальше от толпы, чтобы перевести дух. «Что за день, что за прекрасный день!» – повторяла в слезах Ль-хаджа Зохра, с лицом, преображенным радостной улыбкой. «Я побила его, Сатану! Я победила его; да поможет мне Бог остаться на этом пути!..» Между тем, мы сохранили в памяти глухое и непрерывное потрескивание камней, которое поднималось над толпой, словно суровый и страшный голос: «Да ведь это голос из могилы!» – сказал мне Лахсен впоследствии, когда я рассказал ему о тревоге, которую этот шум пробудил у меня в душе.

После Медины я побывал и в местах смерти. Речь идет не о *мечети пророка* и не о *Священной Мечети* в Мекке. И не об Арафате, и не о Мине. Нет. Эти места лучились жизнью. Они настолько захватывали меня, что я почти не слышал звука своих шагов; эти места открывались и закрывались на свой лад. В одних местах я знал, что смерть придет, что она – мое будущее. В других она была моим прошлым, и она была желанна. Вернув

это прошлое, я никогда не смог бы сказать, что оно действительно было. Это прошлое спрягалось в настоящем и будущем времени и было прошлым, о котором рассказывается только в преданиях. Своеобразной непривычной мощью оно превращало каждую биографию в почки, готовые распусться. В местах молитвы я знал, что иду к прошлому и – что равнялось тому же – что оно приближается ко мне. В других местах оно следовало за мной, всегда настигало и ловило меня, чтобы тотчас же отпустить в своего рода иронической нерешительности, зависевшей сразу и от преходяще-временного и от окончательного. Я заново открывал свое существование. Разумеется, это было не впервые; но это новое открытие, вырисовывавшееся по мере продолжения и при смене «стоянок» хаджа, спроецировало меня заново и в совершенно новом свете. То был незнакомый силуэт некоего конкретного Я, на широком и до сих пор мало исследованном фоне своих двойников. Внезапно мы все прорисовались – паломники в толпе паломников, в сценах с непрерывно меняющимися контурами. Я не углублялся в себя посредством самоанализа, как и посредством чрезмерного здравомыслия, хотя регулярно упражнялся и в первом, и во втором. Скорее, мы сами прорисовывались – паломники в толпе паломников – благодаря этому движению переоткрытия, превращавшему интроспекцию в проекцию, а саморефлексию – в принятие образа на себя.

«Пойдем побивать камнями Сатану!», «Что за прекрасный день! [...] Я победила его! [...] ты должен явиться к *джамрат аль-Акабе* и бросить в нее семь камней размером с фасоль...», «Да ведь это голос из могилы!...». «Оно опасно, побивание камнями, все мы целимся в один и тот же предмет; иногда мы получаем камнем по голове... я принимаю все на пути Бога, необходимо видеть Благо; всякая трудность на пути Бога желанна... саудовцы делают все, что в их силах, но многие люди создают беспорядок». «Вся эта толпа обязана явиться в одно и то же место между восходом солнца и полуднем, и целиться в одни и те же колонны; это опасно, и бывают погибшие, иногда их исчисляют сотнями. Улемам не удастся прийти к согласию, чтобы расширить круг [вокруг колонн]... Они обязаны это сделать. В религии Бог облегчает путь, Бог всегда нам все облегчает, почему же они не облегчают... не знаю».

Среди этих фраз мы узнаём предписание, взятое из какого-то пособия по хаджу. Было ясно: Ль-хаджа Зохра испытала колоссальное удовлетворение, поразив Сатану. Ее слова, слезы



и улыбка никого не удивляли. Ее муж выражался совершенно в том же духе, что и множество других людей вокруг нас. Мы понимали, о чем идет речь. Сам я после побивания Сатаны камнями ощущал себя расслабленным и довольным. Я только что успешно участвовал во впечатляющей коллективной «стрельбе» и остался цел и невредим. Мой характер и моя решительность подверглись суровому испытанию, но я был счастлив оттого, что сумел нырнуть в поток людей и совершить необходимые действия. Сатана для меня мог означать определенные формы негативного, зло. Мои повседневные мысли и действия – помимо хаджа – заставляли меня прилагать усилия в борьбе против этой негативности всякий раз, когда мне удавалось узнать ее в совершенно разнообразных контекстах. Однако существовала большая разница между усилиями в повседневности, с одной стороны, а с другой – усилиями, увенчавшимися успехом в Мине. Все мы располагались на одном уровне космического мимесиса. Этот мимесис упорядочивался правилом «ты должен...» и был хорошо отрегулирован: камни не должны были ни пролететь дальше колонны, ни упасть в сторону от нее, так как в этих случаях хадж не засчитывался. Мимесис допущения [assumption] и предположения [présomption]... Допускать/допущенное: долги, познание и принятие опасностей, жертвоприношения на пути Бога; свершать и свершаться вопреки разногласиям интерпретаторов и законников (и в связи с такими разногласиями); несмотря на соревнование за текстуальный авторитет (и в связи с таким соревнованием). Предполагать/предполагаемое: забрасывать колонну камнями, бросать камни в Сатану и побеждать его, грохот камней: «голос из могилы»; шум: «путь»...

В знаке, которым является колонна, мы предполагали присутствие Сатаны. Присутствие отдаленное, но реальное. Эта колонна ассоциировалась с местом, где явился Сатана. Но он всегда был здесь, в этом месте, где колонна высится над толпой. Колонна и Сатана не отделялись друг от друга. Стоило нам к ней прибыть, как он уже был там, потому что мы в уме сопрягали его с этим предметом. Стало быть, колонна являла отношение, ввергавшее меня в смешение двойников, непрерывно приглашая меня к волевому акту, побуждая переступить через неопределенности. И действительно, как иначе объяснить тот факт, что я до сих пор храню память и блаженство, которые я ощутил вследствие побивания Сатаны? Проявилось нечто, что мы разделяли между собой, узнавали и одинаково называли.

Прежде всего, имелся Сатана – или его собственное имя – затем эти камни, эти колонны, эти хороводы буйствующих паломников и, наконец, это общее единение, которое завершало ритуал. Ничего более конкретного, нежели эта сцена, и в то же время ничего более конкретно нереального: сцена подвешена между неустраняемыми законами, которые управляют нашим эмпирическим существованием, и иллюзиями, которые его составляют. К тому же это были знаки, обращавшиеся к каждому из нас и увлекавшие нас до самых пределов означивания.

У этих пределов чувственные объекты, которые мы совсем недавно научились называть символами, порождали эмоцию в том самом месте, где ресурсы означивания исчерпывались. И первое призвание этих символов было таким: прежде чем мы успеем ознакомиться с какой-либо дилеммой или узнаем ее глубже – предложить множество чувств и желаний, которые одурманивали бы толпу или внушали каждому из нас определенный *настрой*. Такое использование символов оборачивалось хорошо известными и опасно подвижными ликами Сфинкса и Горгоны. Эти символы сводили нас, людей, друг с другом вместе. Но если эти объекты и обладали «известной густотой человечности», то я все-таки не мог удержаться от мысли, что человечность эта приходила к ним благодаря операции смыслового переноса, и что из-за самого этого факта их попытка заменить собой то, к чему они отсылают, всегда останется несовершенной, всегда несколько чрезмерной.

Итак, мне приходилось согласиться с этими перехлестами и в самом себе. Молитва в середине ночи, как всегда, была моментом покоя, и ничто не препятствовало этому возвращению к Аллаху. Монотонная декламация и тишина пауз, как всегда, преобразовывали вселенную. Черты этой вселенной были знакомы, но они являлись в такой новизне, которая бывает только раз, как если бы в молитве время воссоединялось с самим собой. Эта молитва, собиравшая камни и следовавшая за ними встреча со смертью – все эти перипетии преобразовались в мимесисе усилия. Утренняя молитва, открывавшая последние акты этого цикла, представляла собой поднятие завесы – в тишине и покое – над мирозданием, всегда одним и тем же и всегда повторяющимся заново. Вот и он, наш мир (*monde*), рожденный фантазией, – мир, вернувшийся к своему былому существованию: как в сказке.

Этот мир по собственной воле обнаруживался в ритуале. Или, скорее, и тот и другой соглашались завязать интригу. Эта

интрига повелевала: «Делай как Исмаил. Собирай свои камни, нападай на Сатану и приноси себя в жертву при жертвоприношении. Таково повеление, секрет которого знает один лишь Бог». Интрига... В то же время она говорила мне: «Чтобы поступать подобно Исмаилу, собери свои мелкие камушки и иди побивать колонны камнями; однако, в отличие от Исмаила, ты знаешь исход сегодняшнего действия. Ведь в отличие от Исмаила на пути жертвоприношения, ты заранее знаешь, что в жертву будет принесено животное!» Интрига, или, иначе, имитация, развязка которой заранее предreshена. Словом, я не был подобен Исмаилу – сам ритуал на это мне наглядно указывал – но не для того ли, чтобы тотчас же сообщить мне повеление: несмотря ни на что, быть подобным ему?!... Я давно подозревал, что, возможно, следуя пути какой-то другой интриги. Всякий раз, как эта идея являлась моему уму, я далеко отбрасывал ее, препровождая в царство догадок. И все-таки с ней меня постепенно смирял парадокс, что каждую человеческую жизнь толкает вперед миф о ее происхождении, а видна она оказывается на горизонте собственной конечности.